

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА ЭПОХИ НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ВИЗАНТИЙСКИХ ХРОНИСТОВ

Русанова Мария Александровна

Аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»
 marija.rusanova2011@yandex.ru

HISTORICAL TERMINOLOGY AS A REFLECTION OF AN ERA'S MENTALITY ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF BYZANTINE CHRONICLERS

M. Rusanova

Summary: This study is devoted to the analysis of the historical terminology of Byzantine chroniclers as a key to understanding the mentality of the era. The work demonstrates that the conceptual apparatus employed by the authors of chronicles (such as Procopius of Caesarea, Theophanes the Confessor, Nicetas Choniates, and others) not only described events but also shaped the worldview, reflecting the deep ideological, religious, and social attitudes of Byzantine society. The focus is on how terminology inherited from antiquity (for example, barbarian, polis, tyranny) and enriched with new Christian concepts (heretic, orthodoxy, divine providence) was transformed, acquiring specific meanings conditioned by political realities, theological disputes, and the sacralization of power. Through a detailed analysis of the vocabulary related to key aspects of Byzantine life—imperial authority (basileus, autokrator), perceptions of the external world (barbarians, Latins, heretics), religious practice, social structure (dynatoi, stratioti), and diplomacy—the author reveals a close interconnection between language and mental structures. The research methodology is based on a comparative analysis of terms across a broad corpus of Byzantine chronicles. The results show that these terms served not only as descriptive tools but also as powerful means of ideological legitimation of power, the formation of imperial identity, and the drawing of boundaries between “us” and “them.” It is demonstrated how religious concepts permeated all spheres—including politics, the economy, and military affairs—turning historical narrative into a kind of theological-political discourse. Rhetoric borrowed from classical models but subordinated to the needs of a Christian monarchy played a special role, creating a unique hybrid conceptual framework. The analysis of terms describing internal conflicts, dynastic changes, miracles, and everyday practices reveals the perception of history as an arena of Divine Providence, where success or failure was interpreted because of piety or sinfulness. The main conclusion of the study is that the historical terminology of Byzantine chroniclers constitutes a direct and integral reflection of the mentality of the era. Each significant term carried a powerful symbolic charge, and the choice of vocabulary was dictated not only by tradition but also by contemporary ideological and political imperatives. Studying this conceptual apparatus makes it possible to reconstruct hidden models of perceiving reality, the hierarchy of values, the specifics of imperial self-consciousness, and the profound unity of religious and secular principles in Byzantine culture, moving beyond a mere recording of events to an understanding of the worldview foundations of Byzantium.

Keywords: Byzantine chroniclers, historical terminology, mentality of the era, conceptual apparatus, religious and political concepts.

Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу исторической терминологии византийских хронистов как ключа к пониманию менталитета эпохи. В работе доказывается, что понятийный аппарат, используемый авторами хроник (такими как Прокопий Кесарийский, Феофан Исповедник, Никита Хониат и др.), не просто описывал события, но и формировал картину мира, отражая глубинные идеологические, религиозные и социальные установки византийского общества. Основное внимание уделяется тому, как терминология, унаследованная от античности (например, «варвар», «полис», «тирания») и обогащенная новыми христианскими концептами («еретик», «правоверие», «божественное провидение»), трансформировалась, наполняясь специфическими смыслами, обусловленными политическими реалиями, богословскими спорами и сакрализацией власти. Через детальный анализ лексики, связанной с ключевыми аспектами византийской жизни – императорской властью («басилевс», «автократор»), восприятием внешнего мира («варвары», «латиняне», «еретики»), религиозной практикой, социальной структурой («динаты», «стратиоты») и дипломатией, – автор выявляет тесную взаимосвязь между языком и ментальными структурами. Методология исследования основана на сопоставительном анализе терминов в широком корпусе византийских хроник. Результаты демонстрируют, что термины служили не только инструментом описания, но и мощным средством идеологической легитимации власти, формирования имперской идентичности и проведения границ между «своими» и «чужими». Показано, как религиозные понятия пронизывали все сферы, включая политику, экономику и военное дело, превращая историческое повествование в своего рода богословско-политический нарратив. Особое значение имела риторика, заимствованная из античных образцов, но подчиненная задачам христианской монархии, что создавало уникальный гибридный понятийный аппарат. Анализ терминов, описывающих внутренние конфликты, династические смены, чудеса и повседневные практики, выявляет восприятие истории как арены действия Божественного промысла, где успех или поражение трактовались как следствие благочестия или греховности. Основной вывод работы заключается в том, что историческая терминология византийских хронистов является прямым и неотъемлемым отражением менталитета эпохи. Каждый значимый термин нес в себе мощную символическую нагрузку, а выбор лексики диктовался не только традицией, но и актуальными идейно-политическими задачами. Изучение этого понятийного аппарата позволяет реконструировать скрытые модели восприятия действительности, иерархию ценностей, специфику имперского самосознания и глубинное единство религиозного и светского начал в византийской культуре, выходя за рамки простой фиксации событий к пониманию мировоззренческих основ Византии.

Ключевые слова: византийские хронисты, историческая терминология, менталитет эпохи, концептуальный аппарат, религиозно-политические понятия.

Византийская историческая традиция представляет собой уникальный феномен, в котором понятия, употребляемые летописцами и хронистами, позволяют проследить эволюцию ментальных структур целой эпохи. Любое обращение к текстам Прокопия Кесарийского, Феофана Исповедника, Зонары или Хониата неизбежно обнаруживает своеобразную динамику смысловых нюансов, связанных с политической организацией, религиозной жизнью и социальными трансформациями Восточной Римской империи. Эти авторы, продолжая античные литературные формы, все же вырабатывали свою систему терминов, которые отражали идеологические, культурные и повседневные черты византийской цивилизации. В этом многообразии важных теологических, правовых и общественных понятий можно заметить, насколько тесно связан был язык с самосознанием эпохи, а заимствования из античной риторики и греческой философии запечатлевали в себе особое сочетание светской и религиозной компонент. Нам остается лишь выводиться из этих текстовым данным общую картину того, как сами византийцы мысленно упорядочивали действительность, видели границы между светским и божественным и определяли свое место в мире. Их терминология была и способом осмысления, и формой самопрезентации, показывая, что повседневный язык тесно переплетается с идеологическими канонами и коллективным социальным воображением. Поэтому, изучая «ключевые слова» византийской культуры, можно исследовать не только истории о военных походах и императорских дворах, но и более глубокие психологические аспекты византийцев. В данном контексте обращение к риторике, заимствованной из античных моделей, и к новоформирующимся христианским концептам, является незаменимым инструментом для каждого, кто хочет проникнуть в сущность византийской ментальности. Ведь специфические обозначения для императоров, сановников, еретиков, варваров и святых людей выявляют скрытые модели восприятия, которые только и можно реконструировать через понимание языка византийских авторов. Таким образом, историческая терминология оказывается прямым отражением менталитета эпохи, где каждое слово обретает символическую нагрузку, а лексический выбор хрониста диктуется не только речевой традицией, но и идейными задачами его времени.

Источниками для изучения этого феномена служат многочисленные византийские хроники, которые отличаются не только жанровым разнообразием, но и вариативностью языковых форм. Византийские авторы, обращаясь к греко-римскому прошлому, нередко стремились оправдать преемственность новой Восточной Римской империи с античной традицией, сохраняя важную терминологию, но наполняя ее новыми смыслами. В этом процессе значимую роль сыграла христианская интерпретация реальности, которая выстраивала особую иерархию ценностей. Уже в самых ранних византийских хрониках

видно, как понятия «Рим», «гражданственность», «варвары» и «праведная вера» трансформируются через призму божественного плана [7]. У Прокопия Кесарийского, к примеру, наблюдается истинная борьба за правильное описание имперской власти, которую он изображает прежде всего в понятиях возвеличенного христианского монарха, а не наследника римских императоров в классическом смысле. При этом самого текста античных авторов он не чуждался, постоянно полемизируя с ними и используя их в качестве риторического образца для собственных описаний военных кампаний Юстиниана. Но столь важное понятие, как «*basileus*», в данном случае становилось краеугольным камнем для понимания того, какой смысл вкладывался в высокую власть правителя [15]. Именно через такие термины исследователи могут определить, в чем заключалось реальное представление византийцев о «царствующем» императоре, какие качества эта фигура символизировала в контексте сакрализации государственной власти. Богословские темы, так или иначе, пронизывали все уровни мышления, поэтому хронисты, даже освещая военные события, почти всегда принимали во внимание «божеское провидение», таким образом влияя на формы исторического повествования. В повседневном языке византийцев религиозное начало выступало не дополнением к обычной жизни, а ее фундаментом, что нашло отражение в терминологии, в которой часто пересекались гражданская и духовная составляющие. Система концептов, служившая идейной оболочкой эпохи, складывалась в результате сложного взаимодействия между политическими преобразованиями, конфликтами с внешними врагами и богословскими спорами. В конечном итоге именно понимание этих нюансов помогает осознать, как византийские хронисты не только описывали ход исторических событий, но и формировали собственную мифологию имперской миссии. Это убеждает в тесном сплетении государственной идеологии и религии, отражающемся в исторических терминах, которые обретают силу культурных маркеров.

Сопоставительный анализ лексем, связанных с изображением варваров, дает еще один показатель менталитета византийской эпохи. В условиях частых военных столкновений и дипломатических контактов с соседними народами, авторы, описывая их, выбирали слова, которые очерчивали границу между «нашими» и «чужими». Если античная традиция различала варваров как людей, говорящих на непонятном языке, то в византийской литературе появлялись религиозные оттенки, делавшие мир на тех, кто следует истинной вере, и тех, кто ей противится [3]. При этом менялся и сам сакральный контекст: византийцы больше не считали большинство иноземцев простым сгустком чуждости, ведь некоторые племена могли обращаться к православию и становиться союзниками в борьбе со «злой ересью». Хроники эпохи особенно подчеркивают, как понятия «еретик», «неверный» и «иноверец» переплетались с определени-

ем «варвара», образуя нечто большее, чем просто констатацию лингвистических и культурных различий [12]. Перед нами разворачивается панорама идей, где каждая группа противников именовалась с учетом покровительства того или иного святого или зависимости от имперских властей. Язык оказывался оружием, которое устанавливает не столько реальную геополитическую границу, сколько закрепляет сакрально-культурный рубеж. Подобная практика отразилась на формировании собственного имперского самосознания, когда, например, славяне или персы описывались не просто как иные народы, но как соперничающие духовные общности. В результате христианские понятия заменяли собой многие элементы античного восприятия этнических различий. Этот переход не всегда был однородным и неоднозначным: он зависел от политических целей, текущих союзов и доминирующей богословской школы, которая формировала идеологический фон спорящих сторон. Но эта терминологическая эволюция оставалась стержнем, вокруг которого выстраивались дальнейшие описания тонкостей межгосударственных отношений.

Важнейшим элементом византийской исторической терминологии стал комплекс понятий, относящихся к императорской власти. Несмотря на то, что само слово «император» (*imperator*) пришло из латинской традиции, в Византии предпочитали использовать греческие эквиваленты, такие как «*basileus*» или «*autokrator*», подчеркивая исключительность своего правителя [1]. Подлинная власть, согласно представлениям византийцев, была неразрывно связана с божественным санкционированием, что отражалось в терминах, описывающих императора как наместника Бога на земле, а не просто военного предводителя или чиновника высшего ранга. В хрониках встречаются примеры, когда авторы связывают удачу правителя в военных делах или во время переговоров с его праведной верой, с его покровительством Церкви и готовностью придерживаться православного догмата. Особое внимание уделялось также придворной терминологии: дворцовые чины, титулы, должности отражали многосоставную систему отношений внутри столичного круга иерархии [14]. Эти чины выступали символической реальностью, в которой значение имело не только реальное место во властной вертикали, но и близость к императорскому кругу в ритуальном смысле. Даже описывая дворцовые церемонии, хронисты вводили целый набор терминов, фиксирующих почести и перечисляющих атрибуты статусности. Церемонии коронации или торжеств по случаю военных побед дополняли словарь, поскольку, по сути, определяли саму суть власти как нечто сакральное и предустановленное свыше. Византийское государственное самосознание крепло благодаря тому, что язык, которым пользовались в этих случаях, действовал как официальный инструмент поддержания авторитета династии. Поэтому говоря о специфике исторической терминологии, нельзя упускать из виду, что в

основе ее лежала церемониальная культура, формирующая сознание элиты, отраженное в текстах и документах того времени. Новые слова и выражения, возникавшие в связи с изменением политических реалий, постепенно трансформировали и историческое повествование.

Значительное влияние на понятийный аппарат византийских хронистов оказывали церковные догматы и богословские концепции. Особо это прослеживается в вопросах, связанных с определением ересей, описанием Вселенских соборов, регламентацией церковной дисциплины. Хроники наполнялись специфическими терминами, которые служили для различения православной веры и разнообразных толкований христианства, населявших просторы империи [8]. Такие слова, как «иконоборцы», «монофелиты», «ариане», «несториане» и многие другие, отражали ожесточенные дискуссии о природе Христа, о роли икон в богослужении, о статусе Девы Марии и об иных проблемах, которые сегодня могут показаться чисто догматическими, но в контексте Византии определяли саму иерархию власти и народное самосознание. Язык богословия проникал в описание политических событий, поскольку церковные споры влияли на выбор императоров, определяли логику внешних политических шагов и даже вызвали народные восстания. Византийцы воспринимали окружающую реальность в категориях спасения души и следования истинному догмату, а любое отклонение от него автоматически влияло на легитимность власти, личного авторитета и даже дипломатических связей с другими государствами. Поэтому хронисты, характеризуя победы и поражения, часто объясняли их как результат божественного благословения или наказания. Такая установка порождала сложный понятийный комплекс, соединяющий в себе идеи греха, покаяния, покровительства святых и подлинной религиозной реформы. Язык исторических хроник нередко превращался в богословскую проповедь, несмотря на внешнюю форму светского повествования о войнах и государственных переворотах. Эта специфика объясняет, почему изучение византийской терминологии неизбежно приводит к необходимости глубокого понимания богословского контекста эпохи, без которого тексты хронистов остаются лишь набором политических историй.

Параллельно с тем, что религиозно-политические термины занимали центральное место, в византийских трудах сохранялось и стремление к классицизму, унаследованное от античной традиции [11]. Риторы и авторы исторических сочинений ориентировались на образцы великих ораторов и историков прошлого – Фукидида, Геродота, Полибия, пытаясь сохранять не только красоту слога, но и систему понятий, связанных с героикой, гражданским долгом и государственной доблестью. Иногда мы наблюдаем любопытный гибрид, когда одна и та же ситуация интерпретируется через призму ветхозаветных примеров и одновременно через символику

греческих мифологических сюжетов. Однако необходимо иметь в виду, что подобные отсылки часто применялись как риторические украшения, а не как настоящая база для политической теории. Византийцы уважали античное наследие, но главным оставалось богословское самоопределение, поэтому все классические категории «демократии», «полиса», «тирании» могли приобретать особый оттенок, обусловленный временем, когда христианская монархия становилась эталоном правления [2]. Подобная гибридность языка говорит о том, что византийцы не отказывались от цивилизационного наследия Греции и Рима, но трансформировали его под новые политико-богословские нужды. Понятийная пластичность проявлялась в том, что старые термины не изымались из употребления, а обогащались противоположными смыслами, указывая на динамическую природу византийского мировоззрения. Именно поэтому современному исследователю нужно смотреть шире: схожие по форме слова в античности и Византии могут иметь кардинально разные смысловые акценты, ведь за ними стоят иные религиозные установки и другие политические реалии. Хронист, опираясь на знакомые схемы и образцы, дополнял их собственными комментариями, отражавшими ментальный горизонт его конкретного времени. Так историческая терминология вступала в диалог сама с собою, сохраняя архаические фрагменты и одновременно развивая новые значения.

Важным направлением для анализа ментальных установок византийцев является лексика, касающаяся социальной структуры и экономических отношений. Здесь мы сталкиваемся с обширной терминологией, описывающей положение разных слоев населения, формы налогообложения, характер повинностей, а также взаимоотношения крестьян, горожан и представителей военной аристократии [9]. Хроники зачастую касаются этих вопросов вскользь, но, тем не менее, формируют достаточно полную картину восприятия общественной стратификации. Такие обозначения, как «динаты» (представители местной знати) или «стратиоты» (военные поселенцы), отражают специфику византийского уклада, в котором военные функции и хозяйственная деятельность тесно переплетены. Титулы и термины, характеризующие экономическую деятельность, рассказывают о том, как византийский хронист воспринимал материальную сторону имперской жизни. Ресурсы, добываемые с земель, рассматривались не только в контексте блага государства, но и как потенциальная угроза в случае мятежей либо внешних вторжений. Язык, описывающий торговлю, налоги, повинности, окутывает все эти проблемы в богословско-политическую оболочку: любое общественное действие могло ставиться в зависимость от божественного благословения или осуждения [4]. Это означало, что даже понятия, связанные с хозяйством, не были нейтральными, а отражали общую установку византийцев на видение мира сквозь призму веры. Если

посмотреть, как речь хронистов вкрапляет теологические отсылки в экономический дискурс, становится очевидно, что материальная сфера не отделялась жестко от духовных идеалов. Всякая форма экономической несправедливости воспринималась как проявление моральных пороков и нарушение божественного порядка, что, в свою очередь, могло стать поводом для народных волнений и политических смут. Таким образом, социальная терминология, будучи пропитана религиозной и государственной идеологией, вновь свидетельствует о нерасторжимой связи языка и ментальности.

Переходя к изучению значения конкретных терминов, связанных с дипломатией, нельзя упустить из виду, что византийцы обладали богатой практикой ведения переговоров с различными народами и государствами. Для описания дипломатических миссий употреблялся целый набор устойчивых слов, подчеркивающих не только формальный статус послов, но и божественное покровительство империи в глазах пришлых варварских царей [5]. Дипломатические тексты, сохранившиеся в хрониках, показывают, как византийцы стремились выставить себя в роли учителей и спасителей «незнающих истины», тем самым преувеличивая свою роль как опоры правильной веры. Понятия, описывающие соглашения, дары, символические жесты, подтверждали идею о единстве православного мира и его превосходстве над всеми еретическими и языческими царствами. При этом не стоит забывать, что многие византийцы считали Империю новым Израилем, избранным Богом народом, а ее императора – по человеческому несовершенству неполным, но все же образом Христа на земле. Именно поэтому в дипломатическом языке явственно прослеживаются старозаветные аналогии, а сами договоры могли оформляться в форме клятвы, связанной с призывом божественного суда для нарушителей [13]. Хронист, излагая такие эпизоды, не просто фиксировал факты, но и стремился предупредить будущих читателей о неизбежности возмездия за вероломство. Язык, встраивавшийся в эти описания, порождал у современников мощные ассоциации о священном характере соглашений, о небесном покровительстве императора и чуть ли не о мессианском значении самой Византии. Подобная идея, безусловно, формировала особую ментальную карту, где место империи в мире оправдывалось божественным промыслом, а язык хроники был ключом к созданию нужных образов.

Византийские хронисты проявляли особое внимание к описанию чудесных событий и явлений. Чудеса, видения, знамения, реликвии – все это занимает значительное место в исторических сочинениях и, по существу, влияет на понятийную структуру восприятия действительности. В их текстах граница между миром естественных событий и сверхъестественным пространством стерта и проницаема, что свидетельствует о глубоком религиозном мировоззрении общества [10]. Авторы

хроник, рассказывая о битвах или народных смутах, нередко упоминали явление небесных сил, чудесное вмешательство святых, исцеления или наказания от Бога. Терминология, связанная с этими сюжетами, выступала важным средством убеждения. «Чудо» или «божественное знамение» превращалось в доказательство правоты той или иной стороны, подтверждало святость определенного правителя или наоборот указывало на греховность противника. Основываясь на формах языкового описания, можно заключить, что для византийца нормальным было воспринимать исторический процесс как единое поле, где Бог активно взаимодействует с людьми, а не пассивно созерцает. Это формировало своеобразный исторический оптимизм или фатализм, в зависимости от толкования конкретного события, ведь всякая катастрофа могла рассматриваться как благое испытание или наказание за грехи. Поэтому множество лексических единиц, связанных с провидением, покаянием, божественным вмешательством, присутствует практически во всех источниках, независимо от того, в каком жанре они написаны. Хронист, в свою очередь, стремился показать читателям, что его повествование – это не просто запись фактов, а урок, указывающий на про мыслительную логику истории. Так византийская терминология оказывается способом включения сверхъестественного измерения в повседневную историческую канву.

Образ врага в византийских хрониках тоже требовал определенного набора понятий, которые помогали автору противопоставить имперские ценности агрессии извне. При этом неважно, шла ли речь об арабах, персах, славянах или латинянах, хронисты использовали лексику, подчеркивавшую моральную несостоятельность и религиозную заблудшесть этих народов. На первый план выходили слова, указывающие на «захватнический» дух противника, на его искажение христианской веры или вовсе на языческую дикость [7]. Такими формулировками хронист выстраивал пропагандистский образ, который убеждал византийское общество в высшей миссии собственной борьбы. С другой стороны, если возникала необходимость заключить союз или отразить положительную сторону иного народа, язык менялся, акцентируя доблесть, покорность истинной вере или даже признание превосходства православного императора. Эта гибкость словаря отражала пластичность политических позиций, когда союзники легко могли превращаться во врагов и наоборот. Соответственно, набор терминов для положительной и негативной характеристики зачастую пересекался, но находился в зависимости от богословско-политического контекста. Изучение подобных нюан-

сов помогает увидеть, как много внимания византийские авторы уделяли тому, чтобы сформировать правильную оценку внешних угроз. Некоторые выражения явно позаимствованы из военной риторики античного мира, однако они дополняются призывами к божественной защите, упоминаниями о грехах врага, заслуживающего наказания. Таким образом, исторические термины становятся не только информативными, но и эмоционально заряженными, создающими у читателя или слушателя тревожное и одновременно патриотическое ощущение причастности к божественно защищаемому государству. Это переплетение рациональной оценки и религиозных коннотаций в очередной раз демонстрирует, насколько сложно разделить в Византии «светское» и «духовное».

Особую ценность для понимания менталитета византийской эпохи имеет язык, описывающий внутренние конфликты, династические перевороты и мятежи. В хрониках очень часто встречаются подробности о заговоре против императора, о свержении прошлого правителя или о восстании. Термины «тиран», «узурпатор» и аналогичные им выступали мощными инструментами дискредитации любого, кто покушался на легитимного монарха [3]. Однако истолкование самой легитимности зависело от того, какая группировка брала верх, и хронист, лояльный к ней, соответственно выстраивал свой понятийный ряд. Одно и то же лицо могло быть описано либо как добродетельный благочестивый реформатор, либо как коварный «узурпатор», исходя из того, кто в итоге одерживал победу. Язык политической борьбы был тесно переплетен с религиозными стереотипами, поскольку любая претензия на трон должна была подкрепляться доказательством соответствия кандидата божественным критериям. Хронист прибегал к богословским аналогиям, демонстрируя, что Бог «отнял» благодать у прежнего царя и «отдал» ее новому, более праведному правителю. Что характерно, в этих эпизодах ярче всего проявляется ретроспективная структура мышления: победившая сторона стремилась переписать историю под себя, придавая своим врагам черты абсолютного зла и приписывая любые поражения Божьему гневу [1]. Термины из ветхозаветной и новозаветной традиции делали политический процесс похожим на библейский сюжет, в котором свобода человека ограничена Божьей волей. Соответственно, историческое описание не просто констатировало события, а включало их в космическую драму, где легитимность власти всегда имела мистический подтекст. Если современник воспринимал такой нарратив всерьез, то язык истории оказывался для него подтверждением неотвратимости «плана Божьего», одобряя или осуждая ту или иную династию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горин Д.Г. Античное понимание времени и предпосылки современного историзма // Концепт: философия, религия, культура. 2023. Т. 7. № 2 (26). С. 7–18.
2. Гусев Д.А. Три трактовки эвристических возможностей исторического познания // Богословско-исторический сборник. 2024. № 2 (33). С. 107–133.

3. Карашайски К.М. Этники и ксеники, наемники и союзники: к проблеме византийской терминологии в отношении иностранных наемников в середине IX–XI вв // *Via in Tempore. История. Политология*. 2024. Т. 51. № 2. С. 344–353.
4. Кириллов А.А. Византийское наследие: сценарии конструирования исследовательского поля // *Новое прошлое*. 2023. № 3. С. 221–229.
5. Кондорский Б.М. Элементы теории изгойства (на примере периода древности) // *История. Общество. Политика*. 2022. № 2 (22). С. 80–93.
6. Курбанов А.В., Спиридонова Л.В. Аналав: происхождение, эволюция и терминологическая путаница // *Slověne*. 2022. Т. 11. № 1. С. 37–64.
7. Мальнов П.Ю. Терминология персональности (личности) у раннехристианских отцов и учителей Восточной церкви II — начала IV в // *Христианское чтение*. 2024. № 1. С. 12–22.
8. Пахачев Г.В. История введения Пресвятой Богородицы в храм: свидетельства древнецерковной литературы. Часть 2 // *Труды Коломенской духовной семинарии*. 2022. № 1 (16). С. 24–32.
9. Пашин А.В., Михальцов Н.Н. Преподобный Анастасий Синаит и преподобный Иоанн Дамаскин: преемственность в христологической терминологии // *Вестник Екатеринбургской духовной семинарии*. 2023. № 44. С. 11–44.
10. Ревко-Линардато П.С. Византийская философия в современной греческой истории философии // *Kant*. 2022. № 1 (42). С. 152–157.
11. Савенков Д.В. Историческое сознание античной эпохи: становление и особенности // *Новые идеи в философии*. 2023. № 12 (33). С. 94–103.
12. Сычева Ю.А. Принцип типологического параллелизма заветов в христианской иконографии: к проблеме терминологии // *Человек и культура*. 2022. № 3. С. 61–68.
13. Харитоновна Е.В. К вопросу о понятии “историческое время” в психологии // *Психологический журнал*. 2024. Т. 45. № 4. С. 71–80.
14. Цатурова С.К. Чиновник или офисье? Актуальные концептуальные и методологические подходы к переводу терминологии по истории государства // *Средние века*. 2022. Т. 83. № 2. С. 7–34.

© Русанова Мария Александровна (marija.rusanova2011@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»